

18+ Светлана Дарсо

А скучал тебя



Светлана Дарсо

Я скучал тебя

<https://litres.ru/74591893>

ISBN 9785007147262

Аннотация

Настоящая близость рождается в простоте ежедневных жестов, в умении подмечать важное, в молчании, которое слышит, в том, чтобы не бояться собственной уязвимости рядом с другой, такой же бесстрашной. Книга о жизни, мечтах и разочарованиях, о выборе, и, конечно, о любви.

Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Я СКУЧАЛ ТЕБЯ

5

Конец ознакомительного фрагмента.

33

Я скучал тебя

Светлана Дарсо

© Светлана Дарсо, 2026

ISBN 978-5-0071-4726-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я СКУЧАЛ ТЕБЯ

Я скучал тебя. О любви и не только. Очень женская проза.
Светлана Дарсо.

Делай, что можешь,
с тем, что имеешь, там, где ты есть.
Закон трех задач.

Осень — очень странное время. Время прощаний и обещаний одновременно: листья падают, но создают новыми узорами шедевры на тротуарах; дни укорачиваются, но ночи становятся поводом для долгих разговоров и близости. Осень — это сладкая грусть и тихая радость, когда всё вокруг замедляет шаг, чтобы, наконец, услышать себя.

Многие ли из нас смогут честно ответить себе на вопрос: «кто я?» Не функция — дочь/сын, муж/жена, мать/отец, врач/учитель/артист, а именно: «кто я в данный момент времени»? «А кем я был/ была?» «Помню ли я о своих мечтах? О тех, которые были когда-то значимы, или о тех, что стали актуальны сейчас?» Думаю, не многие. Биографии у всех примерно похожие — родился, учился, женился/не женился, статусы, регалии (это вообще — просто разное количество перьев на одинаково исходно голых хвостах) и просьбы к Жизни у нас примерно идентичные... В

общем, любой психолог на приеме будет давать вам идиотские задания по заполнению подобных анкет. Но, как и я, он тоже будет не оригинален. Гениальный Л. Н. Толстой об этом еще в «Анне Карениной» писал. А мудрейшее произведение «Винни Пух»? «Я бывают разные», — сказал Кролик медвежонку Пуху, и был чертовски прав. Каждый день мы становимся новыми «я». И что отчебучим в следующее мгновение, тоже не очень понятно. Если уж по классикам проехали, нельзя, конечно, не вспомнить Р. Д. Уоллера и потрясающий фильм с Мэрил Стрип по его «Мостам округа Мэдисон»: «В тот момент всё, что я знала о себе до этого, исчезло. Я вела себя как другая женщина, но при этом была самой собой более, чем когда-либо раньше». Клинт Иствуд как режиссер этого фильма просто красавчик! А Эльчин Сафарли с «Расскажи мне о море»! Выразаясь современным языком, вообще огонь! Так вот, понимая, что все шедевры написаны до меня и создать что-либо экстраординарное у меня выйдет вряд ли, ибо букв всего тридцать три, а нот семь, и все уже использованы, я все равно набралась наглости и написала новую книжку, где в каждом эссе тоже была самой собой, более, чем когда — либо раньше. О чем? О любви, конечно, но и не только... Ну ооочень хотелось! Что поделаешь, осень...

Анна Николаевна уже лет пятнадцать просыпалась до бу-

дильника. Возраст, бессонница. Сон тревожный и чуткий. Лежала с закрытыми глазами и слушала дом: скрип старой двери в кухню, тихое ширканье настенных часов, сонные вздохи Михаила Семеновича. Сегодня он кричал во сне, видимо, приснился кошмар.

— Миша, Мишенька, — прошептала она, погладив его по плечу, — просыпайся.

Он приоткрыл глаза. Вздурораженный, еще не отошел ото сна. В глазах читался страх. Руки сжаты в кулаки. Во всем теле чувствовалось напряжение.

— Что, опять? Почему тебе все время снится война?

— Не знаю, Ань. Я сегодня во сне прямо чуял запах гари. Представляешь, снится, будто я бегу за отцом по узкой улице, отец идёт вперёд, высокий в чужом плаще, и его шаги звучат как барабанная дробь: бам, бам — быстро и ровно. Я тяну за его руку, пальцы маленькие и липкие от сахара, который незнакомая полная женщина сунула мне у прилавка; он оглядывается, улыбается так, будто хочет сделать вид, что ничего страшного не происходит, и говорит: «Держись крепче, малыш, не отпускай». Я пытаюсь изо всех сил, но его шаги много больше моих, я не успеваю и мне страшно.

Мы мчимся мимо разбитого фонаря, перевернутой тележки с яблоками, каких-то узлов с чьими-то вещами. Пыль, пыль. Кругом пыль. Мне нечем дышать. Где-то плачет женщина, и этот плач сливается с гулом далёких взрывов. Отец поднимает меня на руки, я чувствую запах его пота. Вдруг

папа начинает петь. Он напевает вполголоса песню, которую раньше пела мама, но спокойнее мне не становится. Я понимаю, что надо бежать, бежать дальше.

Вдруг где-то рядом хлопает ещё сильнее; земля под ногами дрожит. Отец прижимает меня к себе, я чувствую, как молотит его сердце. Я почти оглох, я не слышу, что он мне кричит, и мне стало так больно в груди, тут ты меня разбила. Я кричал, да?

— Ты пил на ночь свои таблетки? Сейчас сердце болит? Давай проверим давление.

— Не надо, не надо, Аннушка. Сейчас само пройдет.

Анна помогла ему сесть. Подложила подушку, поправила плед.

— А давай-ка я сделаю тебе чай! Я вчера собрала смородиновые листья. Все, как ты любишь.

— Сделай, сделай. Спасибо!

Михаил Семенович завозился, встал, привел себя в порядок, и к чаепитию стал уже совсем другим человеком. Глаз горит, практически, как и сорок лет назад, когда они впервые столкнулись под гирляндой разноцветных лампочек на вечеринке у общего знакомого в железнодорожном депо. В воздухе пахло креозотом, табаком, пряной колбасой и каким-то дешёвым одеколоном — идеальный ароматный коктейль для начала любви. Он танцевал так неловко, будто шагал по минному полю, и именно это располагало к себе: вместо очередного па выходили очень смешные выкрутасы. Как он ни ста-

рался, одна нога упорно шла не в такт, а вторая, кажется, вообще пыталась освободиться от хозяина. Аня стояла чуть в стороне и смеялась так звонко, что кто-то из гостей предложил немедленно дать ей орден за честность. Когда музыка стихла, в кабинке с пирогами остался единственный кусок. Он схватил его с видом героя, но промахнулся и выронил. Она, сама от себя не ожидая, ловко подхватила пирог, и, не задумываясь, протянула ему. Анна тогда казалась себе очень красивой. Мама подарила ей новый шелковый платок. Она надела красные бусы, накинула платок, и, по признанию Михаила в тот вечер, была чудо, как хороша. И ловила пирог с совершенно кошачьей грацией. С тех пор и пироги, и жизнь они делили пополам.

Она улыбнулась уголками губ, вспоминая.

— У тебя сегодня игривое настроение?

Он обнял ее со спины. Ей стало тепло и спокойно.

Болезнь подкрадывалась медленно, как северный ветер, который сперва просто лишь немного холодит нос, а потом ломает ветви. Сначала он стал забывать мелочи — где оставил очки, как зовут собаку. Потом начал путать дни, с трудом подыскивал нужные слова. Понимал это. Расстраивался и, по-старчески всхлипывая, плакал. Стал хуже видеть. Различал только очертания предметов. Он требовал её внимания так, как когда-то настойчиво добивался её руки на танц-поле: с лёгкой паникой в глазах, будто мир мог рассыпаться в любой момент.

Около полудня в дни без дождей они обычно гуляют. Рядом с их домом находится какое-то режимное предприятие за высоким забором. В обеденный перерыв сотрудники выскакивают, достают запрещенные внутри здания телефоны. И начинается бесконечное: «Привет, как ты? Позавтракал? Что в школе?» Или: «Привет, встретимся вечером?» Или: «Привет, как ты себя чувствуешь?» И от этого «привет», им становится значительно веселее. Выходят курить мужчины в пиджаках, что-то бурно обсуждают, щебечут тонкоcostные длинноногие женщины на каблуках в идеально сидящих брюках. Все вокруг бурлит, радуется, заботится, планирует и торопится. Жизнь идет своим чередом. Анна придумала игры в ассоциации. Она описывала человека, идущего навстречу, а он должен был сочинить о нем историю. Она считала, что это тренирует нейронные связи.

Анна следила за ним, как когда-то следила за рассадой тюльпанов в своём огороде: терпеливо с невероятной надеждой, что ещё один тёплый день вернёт их росткам прежнюю силу. Она знает его ритуалы до мелочей: как он любит крепкий чай с каплей варенья, как предпочитает носки тёплые, но не слишком толстые, как почесывает щетину, когда она читает вслух. Эти ритуалы стали её якорями. Она готовила чай, ставила ту же чашку с трещинкой у края, и напоминала ему название улицы, где они познакомились, как будто повторение могло вернуть их в юность, безопасность и счастье.

— Помнишь, как ты упал с велосипеда в девятнадцать

лет? — спросила она однажды тихо, пока он смотрел в окно.

Он улыбнулся.

— Ты же первая подбежала. Так искренне ругала меня, — прошептал он, и в его глазах на миг снова забрезжила молодость. Анна представила их молодыми: задохнувшимися от смеха на траве, его руки, неуклюжие, но уверенные, как он обнимал её, чтобы помочь встать. В этом воспоминании жили годы их любви — те маленькие и глупые победы, которыми были заполнены обычные дни.

— А ты помнишь нашу первую ночь зимой в новом доме? Я замёрз до костей и ворчал, что отопление плохое. Ты тогда принесла мне шапку, налила горячий суп и обнимала, — он улыбнулся так, как умел улыбаться только ей. — Ты была тогда... горячее чая.

Её горло сжалось. Она опустила ложку. — Помню, Миша.

Он взял её ладонь в свою, дрожащую и знакомую. Сжал её так, будто хотел вложить в этот жест все слова, которые не мог произнести. Анна почувствовала, как его пальцы медленно теряют силу. Во взгляде не было страха. В нём была благодарность за каждый прожитый вместе день: за детей и внуков, за скандалы у холодильника, за «Невестину песню», которую она пела ему в рождественские ночи.

— Я всегда любил тебя, и буду любить, даже, когда меня не станет — прошептал он.

Дни тянулись, и в них было много обычного: походы в магазин, разговоры с дочерью, уборка, и те же тёплые ритуалы,

что скрепляли их жизнь. Осенью Анна нашла в кармане его старой куртки, что давно валялась в садовом домике на чердаке, билет на поезд в город, куда они не доехали в молодости. Она долго вертела его в руках, села на диван, и не заметила, как заснула, по-прежнему сжимая его в ладони. Во сне видела, как они после экскурсии по городу заходят на рынок, где продают рыбу, яблоки и сыр, и он снова ворчит из-за дороговизны, а она смеётся.

— Что веселого тебе приснилось? Мне показалось, что ты смеешься.

— Мне приснилось, что мы все-таки доехали до того рынка в Петрозаводске.

— Постой, а мы разве там не были? А какой сегодня день? Завтра поедем, Аннушка.

Анна кивнула. — Поедем конечно... И запела ту самую песенку, что пела ему в ночи, когда они оба не могли заснуть, ту, что он называл дурной балладой, а потом умолял петь снова и снова. Запела сначала тихо, неуверенно, а потом все громче и громче. Голос хрипловатый, срывающийся, отражался от комнатных стен.

Меня называют «тихушником». Иногда потому, что я редко поднимаю голос, иногда в качестве оправдания, чтобы не замечать. Я заикаюсь так, что слова цепляются за зубы и вырываются наружу по одному, будто птицы, запутавшиеся в

сетке. Но молчание — это не пустота. Внутри меня всегда полная карта: складки на занавесках, точный цвет ржавчины на пожарной лестнице, шаги — кто возвращается в крыло: Петя — быстрый и тяжелый; Валюха — тонкая, и смех у неё как перелив. Я считал ложки в столовой, записывал дни до следующей посылки, фиксировал, сколько раз зимой заедал кран в ванной. Всё это я прятал в маленьком блокноте не для того, чтобы рассказать, а чтобы помнить.

Здесь много ожидания. Ожидание писем, ожидание встреч, ожидание перемен. Ожидание семей. Тех, что приходят, и тех, чьё возвращение отложено наверняка. Иногда дом наполняется гостями: волонтеры приносят мягкие игрушки, фонд делает ремонт, люди в костюмах обещают «улучшить условия». Часто обещания много красивее, чем результаты, но иногда из них рождается конкретная лампа в комнате для чтения или коробка новых карандашей.

Детский дом — это дом, в котором много вещей, и каждая из них хранит свою память. Он похож на любой другой большой дом: крыша, окна, табличка у входа. Но внутри он устроен по своим законам — по времени, по расписанию и по тем маленьким привычкам, которые помогают нам чувствовать, что мир упорядочен и предсказуем. Утро начинается по будильнику, который не просто щёлкает, а возвещает о новом дне медленно и равномерно: шаги по коридору, голос воспитателя, скрип двери спальни. В комнатах стоят одинаковые кровати, на полках — кто-то держит старую ма-

шинку, кто-то стопку наклеек, кто-то блокнот с закоулками рисунков и записей. На столовском линолеуме отражается лампочка, а за столами кипит тихая суета: раздача каши, счёт ложек, шутки, которые звучат громче, чем повара гремят кастрюлями, и слёзы, которые прячут за ломтями хлеба.

Детский дом — это жесткое расписание: подъём, прогулка, уроки, уборка, отбой. Но расписание — не холодный механизм, а каркас, к которому мы привязываем свои дни. В нём есть свои ритуалы: объявление о дежурствах, чтение перед сном, старый радиоприёмник в углу, который иногда ловит песню и заставляет кого-то притопнуть ногой. Есть воспитатели — люди разного возраста и характера. Кто-то строг, кто-то мягок, кто-то устал, но большинство приходит с желанием, услышать, чем мы дышим. И мы им за это благодарны. Это единственное тепло, которое в этом мире способно нас обогреть.

На самом деле, я Ваня. И мне десять. Мне не рассказывали о маме. Только раз в месяц приходил голубой конверт с чужим адресом, и я выдумывал, кому писать. Надежда Павловна однажды положила мой блокнот на верхнюю полку шкафа, как будто спрятала карту, которой я мог воспользоваться позже. Она часто смотрела на меня как на человека с тайной, а не как на тихого мальчика. Она знала, что у меня есть голос, только он разговаривает иначе.

В тот день пришёл очередной человек в тёмном костюме: ровные стопки бумаг, чёткий голос, презентация, список

нужд — ремонт кухни, новая котельная, отдельный игровой класс. Он говорил о детских домах как о проектах. Руководитель попросил, чтобы кто-то из детей сказал, что для нас значит это место. Дети делали вид, что не слышат. Взрослые, что не видят. Я стоял в углу с блокнотом в ладонях; листы были для меня как двери, через которые можно пройти к правде.

Надежда Павловна взяла меня за руку и подтолкнула. Я вспомнил каждую строчку в записной книжке и думал: если я скажу много — слова расползутся, если мало — ничего не скажу. Я открыл блокнот и стал читать то, что обычно храню за молчанием.

«Здесь, — я начал, — у нас ровно тридцать ножей и двадцать восемь ложек. Кран в ванной заедает каждые семь дней. В комнате есть лампа, и когда её включают, в углу появляется ровно десять страниц — тень от книг, которые никто не читает. Может быть когда-нибудь потом? Есть мальчик, который любит ставить стаканы на подоконник, и видит, как солнышко бежит по ним в три часа дня. Я писал это, чтобы помнить, кто мы.»

Слова шли неровно. Они ломались и собирались снова. Я чувствовал, как все смотрят: на мои руки, на блокнот, на зубы, которые мешали сказать то, что думалось ясно. Я не мог назвать всё красиво — зато мог назвать правдой.

«Дом, — я продолжил медленнее, — это не стены. Дом — это когда кто-то помнит, сколько ложек на столе, и кладёт

одну лишнюю, если придёт гость. Дом — это когда тебе возвращают книгу с твоим именем на обложке, потому что кто-то думал о тебе, перелистывая страницы. Дом — это когда тебе говорят твоё имя, и оно не звучит как ответ на объявление, а как приглашение.»

В аудитории стало тихо. Мужчина в костюме сложил бумаги. Я не видел, что он чувствует, но видел, как его пальцы сжали папку. Это было первое настоящее помещение слов в мир; они разложились аккуратно, как те самые ложки в столовой — вдруг их стало заметно больше.

Он подошёл после, не как начальник своих проектов, а как человек, которому только что озвучили что-то простое и важное. «Ты сказал, что дом — это помнить имя», — сказал он, и в его голосе был какой-то дефект — то ли смех, то ли слёзы. — «Как я могу помочь вам запомнить имена лучше?»

Я не ответил сразу словами. Я показал ему блокнот — список наших вещей, наших дней, наших маленьких правил. Он прочитал и вернулся с бумагами, но уже по-другому: не чек-лист, а обещание — лампа в комнате для чтения, книги, ремонт кухни, чтобы количество ложек не определяло нас по счёту. Он спросил, можно ли взять несколько рассказов, которые я писал, для их отчёта. Я разрешил.

После этого в дом приходило больше людей. Некоторые приносили вещи, другие просто слушали. Мне начали приходить письма. Короткие, странные, написанные разными почерками. Я не всегда умею быстро читать вслух, но я на-

учился писать так, чтобы у людей в руках были слова, которые я не мог произнести гладко. Мои записи стали тем мостом, по которому к нам приходили те, кто хотел не просто починить крышу, а узнать, как живут под ней.

Иногда я всё ещё боюсь, что слова застрянут. Но теперь я знаю: если они застревают, есть другой путь — написать. И если кто-то откроет мой блокнот и прочтёт, что дом — это возвращённое имя и лишняя ложка для гостя, он поймёт, почему мы называли его домом вовсе не ради стен. Стены могут быть серыми, но у них внутри иногда создаются такие истории и такие люди, что сердце начинает верить: дом — это не адрес. Дом — это те, кто делает тебя своим.

«Не греми так, он дремлет». Я пыталась помыть посуду, но она меня тихонько из кухни выпроводила. Он шумно дышал, подхрипывая. Чуть ассиметричное одутловатое лицо даже во сне спокойным не было. Сон был чутким. Ресницы подрагивали. Что-то невнятное бормоталось — то ли: «Манха, Манфа», то ли просто мычание. Безвольная бледная рука пыталась выпростаться из-под одеяла. Не вышло. «Я здесь, я здесь, милый. Попить?» «Маша, ты угробишь и себя. Твоя жертва не нужна никому. Ни Игорю, ни тебе, ни детям. Ты физически и психологически сорвешься. Тебе нужны силы, чтобы работать, ухаживать за ним днем и самой хоть чуть-чуть жить». Я предложила сиделку. Хотя бы

ночную. «Кать, ну не могу я позволить, чтобы ночью его обнимали равнодушные руки». «Но ты же понимаешь, что это надолго?» «Понимаю», — еле слышно прошептала она, — «но ведь этот путь не длиннее, чем жизнь...»

«Еще глинтвейна?» Официант был безупречен. Как с журнальной обложки. Рост, плечи. Белая рубашка. И абсолютно пустой взгляд на профессионально-холуйском лице. Хороший отель. Трешка в центре. Промозглая серая, пробирающая до костей, пражская зима. Глинтвейн на красном вине с гвоздикой, лимоном и корицей! Не в этом ли счастье, когда ты сидишь в глубоком теплом кресле, перед тобой горит свеча, а за окном с тяжелыми темно-синими шторами ветер клонит до земли тонкие и такие беззащитные ветви яблонь? Жалко их. Жизнь, явно, к такой зиме не готовила. Нас, кстати, тоже. Но, выживет то деревце, что будет гибче и сильнее. Гибче и сильнее... Законы природы никто не отменял. «Да, еще по два, пожалуйста». Парень сдул упрямую длинную челку с левого глаза. «А вепрево колено с капустой? Чуть позже?» «Именно». На этом понятливый пацан дематериализовался в недра ресторанной кухни.

Хотелось чего-нибудь огненного в желудке, чтобы вскипятило кровь, наконец согрело ледяные пальцы, расправило сжавшиеся от холода легкие и дало возможность выдохнуть, выкашлять, выплюнуть все проблемы, от которых мы с

Настькой сбежали в пятидневный отпуск. Хотя, если совсем честно, проблем особых — то и не было. У людей вон чего, не дай Бог, а мы тут с жиру бесимся. Мой вопрос состоял исключительно в том, что я тупо задолбалась. Задолбалась от кастрюльно-уборочных взаимоотношений с мужем, ежеквартальных финансовых отчетов и бесконечных соплей трехлетнего внука, несоответствия потребностей семьи финансовым поступлениям, от недосыпа, от неизбывного чувства долга, от прущего наверх веса, не первых и не последних морщин и всего, что, собственно говоря, составляет счастливую жизнь среднестатистической женщины пятьдесят плюс, проживающей на постсоветском пространстве. Понятно, что этот вопрос не может быть решен в принципе без кардинальных изменений в жизни, на что я пойти никак не могу и не хочу. Посему прилетела в Прагу сменить картинку, наладить (а точнее, залатать) жизнь, так сказать, неочевидным способом, путем кратковременного выдирания себя из контекста собственной действительности. Надеюсь, хоть ненадолго, но поможет. А вот Настька ехать не хотела. Но вытянуть лучшую подругу из пучины глубочайшей депрессии — моя святая обязанность, поэтому я и искала горящий тур на двоих. И без разницы, куда. И все-таки, я ее выволокла. Хотелось в тепло, на море, конечно. А получилась неприветливая Прага.

С Настькиной проблемой все много хуже. Она должна быть решена. Иначе Настька зачахнет и протухнет. Одно дело — свежая и веселая Настька (в космос — пожалуйста.

Крутить турбины — пожалуйста, поезд на скаку остановить — вообще не вопрос), а другое дело тухлая Настька... короче, без слез не взглянешь. Решение мы начали искать еще в самолете. Все три с половиной часа полета я мужественно слушала ее гундеж. Эмпатировала, соболезнавала, разделяла, отрезвляла, успокаивала, предлагала, отрицала, жалела, гладила, ругала, хвалила, поддерживала, осуждала и все по сто тысячному кругу безрезультатно! Дело в том, что от замужней пятидесятитрехлетней Настьки удрал любовник. Подумаешь, велика потеря! Удрал, и хер бы с ним. Другие в этом возрасте вообще слово «любовник» или не знали никогда, или забыли давно. Тем более, брак у Настьки крепкий, как основательно сделанная отличным столяром табуретка. То есть, тылы прикрыты, базис на месте. А вот с надстройкой беда. Чувственная составляющая у них с мужем исчезла через три месяца после свадьбы, и оставшиеся тридцать два года и девять месяцев им пришлось жить в крепкой финансово-бытовой кабале-дружбе, расторгнуть которую ни одна из сторон даже и не пыталась, ибо была прагматично-меркантильно осмотрительна. Остаться без романтики вечно молодая и нежная Настька позволить себе не могла, и на двенадцатом году брака завела себе Костяна, на десять лет моложе, с которым прожила в параллельной любви и согласии буквально до осени этого года. А где-то с начала сентября Костян начал активно чудить и взбрыкивать. А в конце сентября в ответ на воспитательный Настькин маневр с времен-

ным отлучением от тела молча свалил в закат. Ну и завела бы себе другого, если не может без любви и восхищения! Красивая, умная, состоявшаяся! Выглядит прекрасно! Ни за что полтос не дашь! Так ведь нет! Ей именно этого подавай! Эксцентричная, экстраверсивная огненная и очень тревожная Настька напрочь залипла на тихого, скучного избегающего Костяна. Почему??? Сто раз спрашивала ее я, прекрасно зная ответ. Любишь то, во что вкладываешься. Костян — ее ребенок, ее проект. Плоть и кровь практически. Вскормила, воспитала, на нужной бессловесной мыши женила, помогала всячески. Но главное не это. Главное, что согласно феномену имплицитного эгоизма, она нашла в нем себя! «Он правильно пахнет», — отвечала она, расплываясь в дебилноватой улыбке и закатывая глаза. Видимо, так выглядят все влюбленные женщины независимо от возраста, образования и айкью. То есть привязалась еще и физиологически на уровне обонятельного интеллекта.

Недавно состоялся интересный разговор. Меня попросили вывести формулу любви. Я ответила: «Формула проста — ежедневный и осознанный выбор того, на кого эта любовь направлена». И Настя это тоже понимает. Я ей твержу: «Вы не выбрали друг друга! И, естественно, рано или поздно, кто —то один сливается. Не выдерживает. Желает отсепарироваться. Не любовь это! Влюбленность, зависимость, привязанность, сексуальная совместимость, дьявольщина какая-то, черт побери! Все, что угодно, но не любовь

никак! Была б любовь, развелась бы ты со своим Мишкой давно, и от Костяна пятерых родила! Но ведь не надо же было этого тебе!» «Не надо», — бубнит Настька. «Но я с ним живая. А с Мишкой мертвая». «Сила любой зависимости прямо пропорциональна неудовлетворенной потребности!» — включаю я коуча с лавровым венком на голове. «Не можешь быть с Мишкой — разводишься. Или просто найди себе другого Костяна. Поменяй старые воспоминания на свежие ощущения!» «Аааааааааааааааааааа! Не могу! Не хочу! Не буду!» — Настины глазищи набухают слезами, широкие браслеты на тонких запястьях мелодично звенят, крупные серьги покачиваются в такт кивающей головы, носик потеет и краснеет, пламя свечи на столе дрожит, я теряюсь и путаюсь в словах. «Он меня любит? Он вернется?»

«Вепрево колено», — очень кстати вырос из-под земли официант с благоуханным подносом. Уже пора было бы и поесть. Полупьяная от глинтвейна на голодный желудок Настька схватила его за руку. «Почему вы все скоты неблагодарные?!» Тарелки с грохотом посыпались на пол. «Мы все оплатим!» — засуетились мы обе. Официант, не моргнув глазом, все убрал и поинтересовался, повторить ли заказ. Видимо, пьяные русские — одно из самых частых его дневных впечатлений. «Повторить, конечно,» — пробормотал он сам себе под нос. «Сделайте паузу, дамы, поешьте. В паузе слышно то, что обычно теряется в шуме. Становятся различимы собственные мотивы. Разочарование — не конец, а

всего лишь момент ясности».

Мы ели бесподобно вкусное колено на вертеле, хрустели капустой, пили еще глинтвейн. Молча. Смакуя. Осязая. Обоняя. Балдея. Восхищаясь. Понимая, кто мы, и главное, зачем мы здесь. Именно здесь. В этом сыром холодном городе. В полумраке именно этого ресторана. Мы здесь затем, чтобы услышать слова этого мальчика с длинной челкой и равнодушным лицом. И вернуть себе себя.

Сколько я его помню, дед всегда был старым. Хотя, как сейчас я понимаю, на момент нашей первой с ним встречи ему было чуть больше пятидесяти. Меня, десятилетнюю, бабушка по путевке вывезла в Болгарию, на Солнечный Берег, и там мы с дедом очень коротко пересеклись. Я поглощала впечатления — море, аттракционы, мороженое и сахарная вата, а этот странный потасканный человек интереса совершенно не представлял. Абсолютно чужой и несчастливый. Тогда причину внутреннего отторжения я четко сформулировать не могла. Просто рядом было неуютно, что ли... Седая голова, запах сигарет, ультрамодный, на тот период, но как-то криво сидящий замшевый коричневый пиджак, дурацкий треугольник платочка из кармана, много глубоких морщин и неестественно загорелый цвет лица. Дед жил в Штатах. Довольно давно. Из интеллигентствующих эмигрантов — шестидесятников. Будучи в СССР литературоведом

и критиком, он ничего другого не умел, и посвятил свою западную жизнь изучению вопроса самоидентификации как проблемы эмигрантского сознания. И, надо сказать, не преуспел. Кичась собственной высоколобостью, практически не общался ни с какими родственниками (с бабушкой они разошлись давно, она осталась в Союзе с двумя детьми и их семьями). В США социума он тоже не нашел, жил бобылем. Получал гроши, периодически публикуя свои опусы в какой-то захудалой газетенке, что-то типа: «...прежде у писателей-диссидентов был общий враг — Советский Союз, который они не уставали обличать и (хотя бы и в отрицании) от существования которого зависели. Ныне с гибелью СССР угасла и актуальность произведений большинства литераторов-невозвращенцев. Ориентируясь в основном на ценности западного, капиталистического общества, они не угадали навязанного сверху преобразования советского строя в криминально-бюрократическую систему, принесшую невиданное социальное расслоение». Итоговый вывод исследователя таков: «Литература третьей волны как целое не состоялась...» и все в таком духе...

Мы провели в Болгарии вместе один день. Я его запомнила. Дед из Америки привез мне в подарок плюшевого медведя с большой круглой кнопкой на животе. Если на нее надавить, медведь пищал: «Я скучал тебя». Фраза была очень странная и я спросила, почему она неправильно сформулирована по-русски? Грамотно будет: «Я скучал ПО тебе», —

сказала я деду. «Это дословный перевод английского признания „I miss you“. Как говорят, так и переводят. Но мне кажется, что так даже теплее, интимнее как-то...» Я не поняла тогда, что такое «интимнее», если честно, и, по собственной безалаберности, забыла этого медведя, не помню даже, где. Не понравился мне он.

После нашей болгарской встречи прошло несколько лет, как в квартире раздался телефонный звонок. Мужской голос с небольшим акцентом поинтересовался, как мои дела, хорошо ли я себя веду, учу ли английский. Я сказала, что хорошо, и, да, учу. «А у меня для тебя подарок, Маша-растеряша», — сказал дед по телефону. Повисла пауза, а потом на том конце провода раздался писк: «Я скучал тебя!» Дед как-то надтреснуто и неестественно засмеялся и сказал, что нам передадут кассету с каким-то его выступлением. Я особенно не вдавалась, мне было пятнадцать, и из всех мужчин на земле меня волновал только хулиганистый Севка из дома напротив, к огромной «радости» моих родителей.

«Я видел в Ирландии и, кажется, во Франции полуразрушенные древние постовые башенки, стоящие посреди степной равнины, и надо сказать, что русская культура таких внутренних экзистенциальных башенок в русском человеке не сумела воздвигнуть», — вещал из магнитофона голос деду, цитирующего Суконика. Я не стала слушать до конца. Монолог закончился, пауза, шуршание. И вдруг: «Кнопка! Я скучал тебя!» Я ничего не почувствовала. Ни тепла, ни лег-

кого шевеления в груди. Только недоумение... И, да, где-то в голове промелькнула мысль о возможном его одиночестве, но мгновенно улетучилась.

Я подумала про деда, когда случайно увидела статью «Диссиденты-лузеры». Летела по работе в Прагу и в самолете наткнулась на эту публикацию. Кстати, я журналист (возможно дедовы гены тому виной) и у меня много командировок. Жив ли? Ему уже много лет должно быть совсем... Бабушки не стало три года назад, мама о нем вообще при мне не вспоминала ни разу. Сразу по прибытии в отель, я дозвонилась в Штаты. «Дед, привет! Как ты? Это Кнопка. Помнишь меня?» Мне ужасно хотелось поговорить с ним о Мережковском, о Гиппиус, обсудить Довлатова и Бродского. Дед взял трубку не сразу. «Алло, кто это?» Акцент стал еще более выраженным. Голос был старым и дребезжащим. Пауза в узнавании была более длительной, чем приличествовало и хотелось бы мне. «Дед! Это я!» «Я скучал тебя». Я счастливо выдохнула. Мы проговорили больше часа, я просадила кучу денег. Но хотелось, безумно хотелось с ним говорить. Мы возвращались в шестидесятые, в его отъезд, во все волны писательской эмиграции, в его недоотношения с бабушкой и семьей, в мои счастливые влюбленности и разбитые любви. Как жаль, что мы не общались раньше! Я спросила, жалеет ли он о чем-либо, он сказал, что об упущенном времени сделать в жизни правильный выбор, хотя, черт его знает, какой выбор есть на самом деле правильный. Я сказала, что

верный вектор движения показывает только время. Оно же и лечит. «Не, Кнопка, поверь старику. Время не лечит. Оно учит притворяться. Это не терапия, а косметический ремонт руин». Он зашелся хриплым смехом и разговор прервался.

Всю следующую неделю я была занята под завязку, и только перед отъездом, снова набрала его номер. Трубку сняли почти сразу. Чужой голос, американский сленговый английский. Мужчина сообщил, что он агент моего деда, дед умер позавчера и он занимается его делами. Спросил, кто я. Я ответила, что внучка. Агент помолчал, и сказал, что если меня зовут Кнопка, то дед перед смертью просил мне кое-что на словах передать. И если я чуть-чуть подожду, он обязательно сделает это. Повисла пауза, стали слышны шаги. Вот-вот, секундочку. «Я скучал тебя», — пропищал мне с другого конца земли старый плюшевый медведь.

Ранним сентябрем за окном георгиновое буйство. Крупные головы в скрученных узеньких конвертиках лепестков от кипенно-белых до темно-фиолетовых. Рыжие с желтым бархатцы, поздние хрупкие, слегка надменные румяно-красные розы. Кто-то очень серьезно подошел к дворовым газонным клумбам. Запах пряно-медовый. Особенно прохладными утренними часами, когда цветы набухают рассветной росой. Посреди альпийской горки торчат стрелочки нежно-розовых гладиолусов. Гладиолусы и георгины — прямая ассо-

циация со школьной линейкой... Сколько лет прошло, а холодок по спине нет-нет, а пробегает. Мурашчатые воспоминания — мама тащит меня за руку через дорогу. Тяжелый ранец давит на плечи, мамина рука ощущается ледяными тисками. Безумно хочется спать. Я ненавижу любое насилие, пытаюсь вырвать свою ладонь, дергаю изо всех сил, но безрезультатно. Мама без слов свободной рукой отвешивает мне подзатыльник, в звенящей и без того голове случается взрыв, я кусаю маму чуть выше часов, где-то между запястьем и предплечьем, выдираюсь и бегу в сторону дома... Сейчас, правда, я бы отдал все на свете, чтобы мама взяла меня за руку.

Сиреневые, розовые, бордовые астры высажены по краю, почти у бордюра. Их запах не чувствуется, он перебивается сильным шипрово-персиковым, смешанным с сигаретным, ароматом цветущего табака. Его белые граммофончики возвышаются над ровной астрово-хризантемной линией и вносят хаос в цветочную идиллию. Табак явно не высаживали специально, вырос сам. Табак пахнет точно, как мамины духи «Мицуко» от «Герлен». Мамин запах я не забуду никогда.

За глаза меня называют пижоном. Но я считаю, что это не выпендрож, а самоуважение. Мне нравится нравиться. Себе нравиться. Это нормально. Изысканный парфюм с кожными и фужерно-дубовыми нотами (я однажды влюбился в Лайлак Инкре Ноир и остался верен ему раз и навсегда), стрижка обновляется каждые три недели, гардероб полно-

стью — раз в год. «...Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» Любовь к хорошей еде и качественной одежде привила мне в детстве мама. Черт, как много мыслей о маме, сегодня! Надо бы на кладбище съездить. Она была директором Главпивторга, и ей бесконечно что-то приносили. А она брала. Не стесняясь, брала. Во всяком случае, я не помнил ее смущения ни разу. Семья никогда ни в чем не нуждалась. Каким-то волшебным образом ее не посадили, и она умерла своей смертью в достаточно позднем возрасте. По молодости мать была мило капризной, а после шестидесяти это стало особенно заметно, и из дамы с изюминкой, приятной во всех отношениях, она превратилась в сварливую барыню. Бессловесному отцу доставалось здорово. Но, любя ее совершенно беззаветно, он все терпел, и по любым праздникам баловал новыми украшениями, цветами и нарядами. «Главная мера любви — это любовь без меры», — улыбался папа, глядя на сияющее мамино лицо. Она крутилась перед зеркалом, как девчонка, совершенно счастливая, пару минут, а потом моментально перевоплощалась как оскороносная актриса в собранную, жесткую бескомпромиссную деловую женщину с суровой складкой между бровями и стальным взглядом. И эта мгновенная метаморфоза меня всегда поражала. Самодисциплины ей было не занимать. У мамы всегда нужным образом по последней моде были выщипаны брови, облупленного маникюра или рваных колготок я на видел никогда. Она не расставалась с большим ко-

жаным портфелем, в котором лежали кипы счетов и накладных, помада, духи (флакончик, похожий на русский терем с луковичной головкой, заполненный коньячного цвета жидкостью), пудреница с зеркалом и пуховкой, запасные колготки, лак для ногтей, печать со штемпельной подушкой, пачка дорожных Marlboro и упаковка изделий номер два. У нее были свои люди в каждом магазине, которые оставляли ей лучшие продукты, ткани, обувь. Она была весьма привередлива в выборе, возвращала то, что не нравилось без объяснений, многим отказывала в обратных услугах. Когда я спросил, почему, она ответила: «В определенном возрасте слово „нельзя“ превращается в „не хочу“ и это спасает». Я запомнил.

Я замер перед шкафом на долю секунды. Потом достал песочную водолазку (светлое у лица омолаживает), джинсы мокрый асфальт, накинул кашемировое пальто цвета кэмел, кашне в сине-коричневую клетку. Быстрый удовлетворенный взгляд в зеркало, и вот оно — бледно-голубое распахнутое небо осени. Сегодня на работу пешком. Шел парком, наблюдал за детьми на веревочных качелях, за обнимающимися на скамейках парочками, шурился сквозь темные очки. Хотел ли я быть на их месте сейчас? Завидовал ли? Нет. Я никуда не торопился. Мама вечно куда-то спешила. Она подгоняла время, чтобы все успеть. Что все? Зачем? Видимо, по-другому, ей было не интересно. Но в этой своей гонке она умудрялась очень жестко контролировать, дрессировать

и подгонять меня. Это был контроль не ради власти, а чтобы защитить — от плохих решений, от людей, которые могли навредить. Она советовала, с кем стоит вести переговоры, а с кем нет, ограждала от сомнительных знакомых, звонила в нужные инстанции, когда я сам не знал, куда обратиться. Её действия, жесткие и одновременно продуманные, часто спасали меня там, где я не успевал сориентироваться. Это сейчас я понимаю, что она использовала управление как способ заботы, а раньше сильно обижался и пытался минимизировать общение. Она находила меня на квартирах у друзей, присылала машину с водителем и отчитывала дома металлическим голосом, сидя в кресле с безупречной осанкой. Меня это дико бесило. Я говорил ей гадости и не извинялся. Она, раскуривала очередную сигарету и говорила: «Настанет день, когда ты захочешь попросить прощения, а будет не у кого». Иногда я с мстительным удовольствием наблюдал, как с возрастом одряхлев, она теряла контроль и становилась уязвимой, как ребёнок. Я не думал о том, что ее когда-нибудь может не быть. А этот день однажды настал...

Хорошо, когда понимаешь, что у тебя есть время. Время на созерцательность, на радость от простых мелочей, на понимание, что не надо никого догонять, кому-то что-то доказывать, завоевывать место под солнцем, начинать все сначала. Детство бесправно, а молодость суетлива. Зрелость бесценна, но очень краткосрочна, к сожалению. Боль и пустота, ощущение собственной ненужности, никчемности и бес-

помощности придут позже. Придут надолго, а потом наступит безвременье. Навсегда. Мать пахала неустанно, неслась как бронепоезд по рельсам под гору, и требовала от меня того же. Часто цитировала Софи Лорен: «Основной источник молодости — разум, талант и творчество.» А от себя добавляла — «Труд. Труд, дружок, сделал из обезьяны человека. Остановишься — упустишь жизнь. А жизнь упускать нельзя. Я буду вечно молодой». Здесь, мне кажется, она была не права. Надо остановиться, чтобы вкусить и почувствовать жизнь. Мой взгляд наткнулся на золотисто-желтое пятно среди зеленой травы. Одуванчик — летняя живая легкая радость среди осенней помпезной красочной напыщенности. Я нагнулся и замер над игольчатой солнечностью цветка. Мама! Мамочка! Сколько лепестков у одуванчика?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.